

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6
К93

*Составитель серии Андрей Геласимов
Художник Алена Геласимова*

Курилло Н.

К93 Девять месяцев одного года, или Как Ниночка Ниной Се-
рафимной стала. Роман. — М.: ИД «Городец», 2020. — 304 с.
(Серия «Ковчег».)

«Девять месяцев одного года» совмещает в себе черты школь-
ной повести и любовного романа, однако школу жизни проходят не
столько ученики, сколько учительница элитного экстерната — два-
дцатидевятилетняя Ниночка. Ниночка не отличается ни необходи-
мым преподавателю альтруизмом, ни грамотностью, хотя и любит
читать. К тому же она совсем недавно рассталась с мужем.

Календарь романа выстроен «по авторам» школьной программы,
которую заново осваивает героиня, воспринимая ее «по-домашнему»:
на собственную жизнь она теперь смотрит сквозь призму художе-
ственных произведений, анализ которых часто выливается в воспо-
минания героини или размышления о высоких материях — сумках
и обуви, любви и предательстве, юности и зрелости. Ниночке пред-
стоит пережить ряд личных катастроф, отпустить свою юность, встре-
тить новую любовь и стать настоящим профессионалом — Ниной Се-
рафимной.

ISBN 978-5-907085-66-4

© Курилло Н., 2020
© ИД «Городец», 2020

Роман для классного чтения

Есть такой замечательный жанр в литературе — называется «роман воспитания». Звучит, может быть, и несколько назидательно, а читатель наш назидательности не любит, но на самом деле жутко увлекательное чтение. Потому что нет ничего более интересного, чем наблюдать за тем, как люди растут, как меняются и оказываются такими не похожими друг на друга, как по-разному видят мир и воспринимают друг друга, читают книги, влюбляются, различают или не различают добро и зло. Особенно это важно для юности, когда эти изменения происходят стремительно и наиболее заметны, когда еще можно что-то исправить, ибо, как заметил великий Лао-цзы (эту цитату я запомнил по фильму Андрея Тарковского «Сталкер»), «когда человек рождается, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит».

Автор романа «Девять месяцев одного года» как раз и пишет об этой скрытной нежности и гибкости, излагая историю одного учительства и нескольких ученичеств. На первый взгляд, почти

что элитарных: главная героиня романа преподает в частном лицее детям из богатых семей, которые готовятся поступать в московский университет. Она учит их писать сочинение по литературе — то есть сдавать тот замечательный экзамен, который пока что временно исключен из школьной программы, и я прочитал бы большое сочинение Курилло как очень умный и художественно точный аргумент в пользу сочинения малого. Потому что второе (сочинение малое) действительно учит мыслить, чувствовать, спорить, говорить и спрашивать ерунду, но в этой ерунде и заключено самое ценное в жизни.

Читатель, который прочтет роман Нины Курилло целиком, возможно, задумается: а можно ли считать его педагогическим? Хорошему учителю иногда приходится прибегать к антипедагогическим, ну или по крайней мере не укладывающимся в строгие рамки педагогики методам — об этом, например, гениальный рассказ Валентина Распутина «Уроки французского». Героиня Курилло похожа на распутинскую Лидию Михайловну женственностью, озорством, азартом и готовностью хулиганить, а еще невероятным чувством иронии и самоиронии. *Docendo docemur* — гласит латинская пословица. Обучая, учимся сами. И Нина Серафимовна, эта двадцатидевятилетняя обаятельная дылда, конечно же, учится у своих учеников. Учит и учится сама. Мне нравится эта книга своей необъективностью, женской взбалмошностью и иррациональностью, потому что так в жизни все и бывает. Героиня не лицемерит, не кокетничает, она хочет устроить свою судьбу, стремится быть счастливой и помочь стать счастливыми своим ученикам, она бьется и играет, страшно живая, непосредственная, открытая и скрытная. И я ужасно завидую ее ученикам и радуюсь тому, что в русской литературе появился новый роман для классного чтения.

Алексей Варламов
(д-р филол. наук, литературовед, писатель)

*Это было, кажется, уже в этом тысячелетии, но, безусловно,
еще в ту эру, когда не пришло ОНО, то есть ЕГЭ. Короче,
светлой памяти реформ господина Фурсенко
и его соратников посвящается*

1

Сентябрь

Все гонят, все клянут,
Мучителей толпа...

А. С. Грибоедов

— Я должен вас разочаровать, уважаемая Нина Серафимовна, слово «уезд» как производное от глагола «уехать» в русском языке отсутствует. — На бескровной, водянисто-мучной физиономии Червячилы нет и тени улыбки.

Червячила — на самом деле его зовут Вадимом, но так его никто не зовет — вполне оправдывает свое прозвище: длинный, узкий, как одностворчатый шкаф, он уязвляет взгляд какой-то дряблостью бледностью, которую оттеняют черные с большим блеском жиденькие прямые волосы до плеч, белая рубашка с распахнутым воротом и темно-синий костюмчик, напоминающий о вихлявых танцах шестидесятых годов: узенькие коротковатые брючки и гаденький, маленький — словно снятый с тщедушного пятиклассника — пиджачок, застегнутый на одну пуговицу где-то повыше пупка. Глаза Червячилы — за стильными узенькими стеклышками очков — смотрят куда-то в район моего виска или уха, так что мне трудно определить их цвет — кажется, выцветший голубой. Мне еще ни разу не удалось перехватить Червячилин взгляд,

хотя Червячила иезуитски вежлив и даже — не в пример остальным — встает, когда обращается к препода. Препода — это я. Нина Серафимовна. Если вы вздрогнули от такого отчасти неожиданного отчества, то представьте, каково мне — двадцатидевятилетней долговязой бездельнице, которую до нынешнего сентября величали исключительно Нинкой, Нинелью, Нинелью-Шрапнелью, Ниночкой — нет, это раньше, и то — только бабуля... И каждый раз, когда я слышу эту жуткую, незнакомую, но очевидно враждебную «Нину-Серафимну», сердце ухает в бездну, из которой вот-вот выскочит она — неумолимая и безжалостная Нина-Серафимна, доисторический завуч с квадратными каменными икрами, мощным державным бюстом и страшной головой с торчащими шпильками из обязательного пучка... и пылающий взор из-под выщипанных в ниточку бровей... И в тот миг, когда мне удается спастись — вынырнуть из бездны, чудом избежав столкновения с Ниной-Серафимной, я с особым садистским — или мазохистским? — удовольствием говорю себе: «А ведь Нина Серафимовна — это, Ниночка, ты. Теперь ты. Потому что одна. Теперь одна. Страшная фурия, эринния и вообще черт знает что. И никто тебя, Ниночка, не назовет Нюркой, Никоношей, а еще — почему-то — Никитой и — в особенно пронзительные задыхающиеся минуты — Свиной — да, вот так, на коротком обрывающемся вздохе — какая же ты, Свиная, классная!..» Меня на секунду обдает волной обжигающей звериной нежности, и тут же начинает подташнивать от казенного равнодушия, разлитого в чужом воздухе аудитории...

— Уезд — это обозначение территориальной единицы в царской России. — Голос у Червячили тоже какой-то водянистый, бесцветный, старинные романисты, наверное, написали бы — «жиденский баритон». — Наряду с губернией или волостью. Ну, скажем, Пошехонский уезд Ярославской губернии. Как-то так... А уезда Чацкого никакого нет — тем более уезда Чацкого из Москвы — как вы изволили выразиться...

И Червячила аккуратненько садится, предварительно обернувшись и посмотрев назад и вниз — за свой тощий зад — убедиться, что стул все еще под ним — предосторожность, надо заметить, совершенно не лишняя, ибо сзади, за последней партой, круглый Вася. Вася-качок, Вася-спортсмен, Вася-болельщик. Свою страстную любовь к известной сине-белой футбольной команде Вася выражает с помощью сине-белого шарфа — чистого, точно он только что снят с манекена в витрине, а также с помощью очень красивого мягкого — видимо, из хорошей замши — пенала — синего с тоненькой белой каймой, с помощью шариковой ручки — белой с синим круглым набалдашником, на котором что-то нарисовано, но мне от доски не видно, а также тетрадей, обложки которых украшены фотографиями неизвестных мне джентльменов в сине-белых и бело-синих трусах и майках... Однако Васе сейчас не до остроумнейших манипуляций со стульями — хочешь — отодвинь, а хочешь — кнопку или тщательно разжеванную жевательную резинку... В данный момент он, затаив дыхание, внимает каждому слову Червячилиного спича, не вникая — ибо бесполезно — в смысл, но чуя смертный час училки, которую сделали по полной. И не успевает Червячилин тощий зад опуститься на стул, как Вася взрывается ликующим хохотом, напоминая, несмотря на свой вполне оформившийся семнадцатилетний бас, счастливого младенца, когда тот с ложкой в руке и творожком на щеках восседает на высоком стульчике за общим столом и от души, но старательно смеется вместе со взрослыми, делая секундную паузу, чтобы счастливо взглянуть сначала на маму — «А? Хорошо смеемся?», потом на папу — «Ну, мужик, ты и сказал!», а сияющие родители, уже забыв о причине веселья, вновь растворяются в смехе, который есть не следствие искрометного остроумия, но чистейшая — без малейших примесей интеллектуальных усилий — любовь. Так и сейчас одиннадцатый «А», проникнувшись Васиным младенческим восторгом, хохотал.

Смеялись все. Смеялась тихая троечница Виолетта — она, правда, не написала еще ни одного сочинения — собственно потому, что еще не задавали, но Виолетта с ее смиренным темно-русым хвостиком и небольшими серыми глазами на худеньком личике не могла быть никем иным, кроме троечницы. Смеялись — рядышком друг с другом — оба Савелия на задней парте справа — смеялись так, что казалось, и прыщи на их физиономиях трясутся, подскакивают, сталкиваются в воздухе и приземляются — чтобы вновь впиться в измученную кожу. Смеялась совершенная Зоя — искренне, но сдержанно и благородно, как и подобает стройному совершенству, смеялась, точнее, выдавливала на высокомерно искривленные губы снисходительный смешок Зоина смазливая соседка Мила. Смеялись и остальные — те, чьи имена еще не впечатались в мою память, так что все эти юные весельчаки оставались пока безликим хором, оттеняющим мощное выступление солиста Васи. Однако временное отсутствие индивидуальности не мешало этим безымянным гаденышам смеяться с той же самоотдачей, что и оба Савелия, и Виолетта, и Зоя с Милой. И Вася. Особенно, конечно, Вася.

Не смеялся только высокий глазастый Карен — он что-то писал — и еще мы с Червячилой: не смешно, да ведь и этим не так чтобы очень смешно. Ну, подумаешь, «уезд Чацкого»... Ну, «Пошехонский уезд»... И почему — Пошехонский? Чушь какая-то... Чему смеются? Почему? А почему смеются над Чацким все эти уроды — Тугоуховские и прочие Загорецкие? Ну, зануда, согласна. И пафосный очень. Но ясно же — довели, достали, допекли. И прям спасу нет, как смешно, когда человеку больно — так больно, что только и остается — про себя, самому себе, с изумлением — «Все гонят, все клянут, мучителей толпа...» И вдруг — спохватиться и посмотреть вокруг невидящими глазами — неужели вслух?

И когда так больно, что хочется одного — просто не быть, вдруг приходит она — восхитительная злость. Не та мелочная, жалкая, унижительная злость, от которой скукоживается голос, а другая

злость — парящая и дерзкая — как освобождение, как истина, когда вдруг — уродам в лицо: ну вы — уроды с того света!.. Но нет, не туда: препод так не должен, препод — он же, блин, гуманист. Нельзя детям говорить, что они уроды, даже если они уже не совсем дети и уже совсем уроды, все равно нельзя, так как дети могут расстроиться и повеситься, осознав, что уроды. И им станет мучительно стыдно, что они гонят и клянут того, кто так умен, остер, красноречив и славно пишет, переводит... Стоп. А вот это уже совсем не туда: славно пишет — это про кого угодно, только не про меня.

Думаю, мне в детстве не диагностировали дислексию или дисграфию только потому, что о них тогда у нас слыхом не слыхивали, списывая все на старую добрую ребяческую лень или на общую детскую тупость организма. Возможно, подобное невежество отечественных эскулапов спасло не одного сегодняшнего читателя (подозреваю, что и писателя). И, разумеется, меня, потому что бабуля — без всякой медицинской и какой бы то ни было еще заграничной помощи — читать меня все-таки научила. К третьему классу, но научила. Конечно, я до сих пор не знаю, как правильно пишется — «винегрет» или «венигрет», а когда утомляюсь, путаю слоги, буквы и даже звуки, но читать — читаю. И даже много. То есть не поймите меня неверно: я много читаю не от тяги к знаниям (в этом никем и прежде всего собою замечена не была), а от общей хилости — когда у меня падало давление, а это случалось часто, бабуля оставляла меня дома, ну и надо же чем-то себя занять.

Вы, наверное, подумали, что я эдакая тургеневская барышня или какая-нибудь чеховская Мисюсь — тонкие запястья, затуманенный взор и всякое такое? Если бы! Метр семьдесят восемь и кроссовки тридцать девятого размера.

— А! — обрадовались вы, — так ты, Ниночка, модель? Или нет — тебе ведь уже двадцать девять — бывшая модель?

Опять нет: не востребоваанный типаж. Да, да, вердикт профессионала — когда я в десятом классе по секрету от бабули

все же пришла в Дом моды — такое огромное здание в центре города, и очень известный профессионал заставил меня встать почему-то на стол, — вердикт был однозначен: не то. Обидно ужасно: отсутствие бюста, общее состояние интеллекта — вполне для модели, но — не то. Типаж, говорит, не тот... а еще сколиоз. Сколиоз — это искривление позвоночника, и если я в майке, вы — от зависти, разумеется, потому что общей моей стройности и длинной шеи никто не отменял — вы ничего не заметите, но вот в платье с голой спиной — нельзя: мой двоякоизогнутый позвоночник повторяет форму доллара. Понятное дело, не самой купюры, а знака — то есть буквы. Я, собственно, как ни пыталась искривиться перед зеркалом, никакого доллара у себя так и не увидела, но Митя часто рисовал его пальцем на моей голой спине — вот так, прямо по линии позвоночника... S — самая щекотная буква. Даже когда представляю ее себе, щекотно. И когда пишу — тоже.

А вообще, когда я пишу, то буквы ставлю в произвольной последовательности, иногда даже забегаю вперед, так что одно слово у меня вливается в другое или — наоборот — крутится и крутится вокруг одной самой главной своей буквы, которая звенит, зудит и — сама по себе уже есть это слово, нет — больше, чем слово, она — ось, звук, истина и смысл...

— А как пишется — «ПОшехонский» или «ПАшехонский»? — Карен поднял на меня честные карие глаза и прекратил писать.

— Кажется, По... Какой «Пошехонский»? Не пиши! — От ужаса, что Пошехонский уезд Чацкого теперь навсегда — пусть и в рукописном варианте, но задокументирован, я сорвалась на крик и даже перешла на «ты». — О господи! Не пиши это!

— Как это «не пиши»? — возмутился Карен. — Папа сказал: все, debil, пиши, а то в Куршевель не поедешь! Все, сказал, пиши — лично проверю! Ты должен учителя уважать... и учительницу тоже — так папа сказал. — И Карен обратил на меня распахнутый взор.

Издевается? — я старательно вглядывалась в неправдоподобно большие карие Кареновы глаза — а ресницы-то, ресницы — в полщеки! — но ничего в них прочитывать не могла. Издевается! — решила я.

— Карен, — я отвела взгляд, — я допустила грубую стилистическую ошибку. Вы же слышали — нет слова «уезд»... Я просто хотела сказать, что... Чацкого... Что Чацкий уехал, что символизирует, что он... уехал...

Нет, какая все-таки сволочь! Нет, видишь ли, такого слова — «уезд»! И что мне теперь делать, если у меня так в тетради написано, и я вызубрила этот уезд ночью, понимая, что на месте ни одной фразы не сложу? А эти гады пишут под диктовку, да еще с традиционными вопросами «а перед “который” запятая нужна?» А ты стой и думай — нужна или не нужна... и это какой, блин, «который», где там у меня «который», если я сложноподчиненными не изъясняюсь?! И как мне, блин, теперь сформулировать, что Чацкий не просто уехал, а от всех этих гадов уехал, от старух этих безумных, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором... от сволочей этих уехал — с их зваными обедами и балами, с их презрительно поджатыми губами, с их Куршевелями, с репетиторами, с маленькими кокетливыми собачками — такими, которые полагаются к французскому маникюру и взгляду сквозь... уехал, не потому что он голодранец или изгой — ха! Ничего себе изгой — с министрами в Петербурге: «с министрами про вашу связь, потом разрыв...», а потому уехал, что он теперь один, потому что смертельный удар уже нанесен — и кем нанесен! Кем?! Да только один человек может нанести такой удар — тот, кто знает тебя как никто, знает лучше, чем ты, знает то, что ты про себя никогда — хоть искрутись перед зеркалом...

— Извините, Нина Серафимовна, что вмешиваюсь, — Червячила вежливо поднялся из-за парты. — Вы, видимо, хотели сказать, что отъезд Чацкого — смею вас заверить, Нина Серафимовна: в русском языке имеется слово «отъезд», — что отъезд Чацкого

символизирует разрыв героя с косным московским обществом... Косный — без «т» — проверочное слово «косен». — И Червячила сел, посмотрев, разумеется, назад и за себя — за свой тощий зад. Ибо сзади Вася.

Нет, что «косен» — без «т», это я как раз помню, вроде помню... Ну да, славно писать бабуля меня так и не научила. И переводить. Собственно, и в институте не научили — за все восемь лет моего обучения.

— А почему за восемь? — спросите вы. — Неужели, Ниночка, была еще аспирантура?

Какая на хрен аспирантура — с тремя тройками в дипломе — по морфологии, словообразованию и стилистике. И это еще удивительно, что с тремя: как мне поставили пятерку по фонетике, если я слегка шепелявлю, от волнения заикаюсь или вообще за-тыкаюсь — в смысле молчу, как Галилео Галилей — в общем, почему по фонетике у меня «отлично» — неизвестно. А синтаксис? Почему синтаксис — «хорошо»? Что в нем хорошего, если я не изъясняюсь ни сложноподчиненными, ни сложносочиненными предложениями? А если вы интересуетесь про восемь лет моего обучения, то тут нет никакой загадки, одна голая арифметика — сначала я вылетела после второго курса дневного отделения — и меня быстренько восстановили на втором курсе вечернего (по благу, конечно: декан — бабулин однокурсник), потом, когда я вылетела после второго курса вечернего, меня восстановили на нем же — в смысле оставили на второй год, — и я, несмотря на то, что у меня была закрыта зимняя сессия, снова сдавала фонетику и теорию литературы — и еще всякую ерунду, которую я освоила, надо сказать, лучше всякой другой — хочешь не хочешь, а с третьего раза и фонетику выучишь. И синтаксис — особенно после того, как декан вызовет к себе и скажет: «Все! Последний раз — и только в память Нины». Мою бабулю, как вы, наверное, догадались, тоже звали Ниной, но не Серафимовной, а более человечно — Никаноровной. И бабуля уже не узнала о том, что я

все-таки перешла на заветный третий курс и даже — на шестом курсе — защитила диплом, который, по словам декана, потряс комиссию рекордным количеством орфографических и стилистических ошибок. Говорят, заведующий кафедрой теории литературы даже забрал диплом домой, чтобы читать вслух и наслаждаться слогом, а еще выбирать примеры для курса литературного редактирования — для разделов «правка-вычитка» и «правка-переделка». Вообще-то мне кажется, что правку-вычитку и правку-переделку выдумал Пузырь — мой давний знакомый по первым двум курсам дневного отделения, выдумал, чтобы успокоить меня перед выходом на работу:

— Нин! Да никто от тебя творческих свершений не ждет! Дети — блатные, за всех заплачено. Расслабься. У них — у каждого! — свой репетитор, и не один. Твоя задача — гнать программу от Грибоедова и до упора... и ставь оценки. Да, раскадровку занятий я тебе дам — Алена оставила. Ну, проверяй посещаемость — за них же деньги платят — иногда родители приходят, интересуются.

Пузырь — с тех пор, как я окончила институт, — удивительно похудел, так что при своем довольно высоком росте мог бы даже казаться стройным, если бы не какая-то мягкая сдутость, выдающая всех бывших толстяков... а еще бескостные и безвольные руки — брр! ни за что и никогда!.. Пузырь мигал на меня очень розовыми веками и не мог скрыть гордости: а как же! — мало того, что мачо и кандидат наук, так еще и заместитель директора экстерната, профессора Барыбина — по совместительству папеньки Пузыря, такого же, как и сынок, сдутого толстяка с задумывающейся походкой — ну, знаете, когда смотришь на походку такого человека, то тебе становится за него неловко — прямо до физического ощущения неудобства: как будто это ты все время думаешь, как соотнести взмах руки с движением ноги, а также с поворотом туловища и наклоном шеи, да, главное, пожалуй, именно с наклоном, а то и изгибом, или даже выгибом, шеи, потому что некоторые очень высокие и сутулые люди ходят так, словно за

ними неотступно следует гувернантка и каждые несколько секунд бьет их линейкой по спине: «Держи спину, держи спину». Эти удары при всей их невидимости настолько болезненны, что навеки сковали негибкие члены несчастного, так что все попытки не огорчать гувернантку и держать спину прямо привели лишь к верблюжьему вытягиванию подбородка и надуманной величавости медлительного шага, в результате чего вся фигура, поставленная на иксамые ноги, напоминает расщепленный снизу разъезжающийся вопросительный знак. В общем, Пузырь и его папенька, профессор Барыбин, были настолько похожи, что все мои многочисленные и разбросанные во времени попытки вызвать в сознании внушительный образ профессора Барыбина разбивались о шпекинскую фигуру самого Пузыря — с унылым толстым носом, маленькими глазками, тускло выглядывающими, как мутные жемчужины из нежнейшей раковины, из интимно-розовых век. Глазки пытаются выглядеть грозно, но в глубине их мути застыл страх и неверие в свою грозность. А еще, конечно, сведенные пароксизмом жалкой полуулыбки бледно-розовые длинные губы плоского безвольного рта.

Так вот, папенька Пузыря, всемирно известный специалист по приставкам и известный всему институту ловчила — говорят, в старые добрые соцреалистические времена он был комсоргом, профоргом и парторгом факультета — наверное, последовательно, хотя если мне скажут, что одновременно, я не особо удивлюсь, так вот, папенька Пузыря, профессор Барыбин, придумал в постперестроечные десятилетия организовать экстернат — прямо при институте, чтобы облегчить жизнь деткам богатых родителей, а то бедные богатые детки утомляются ездить сначала в бесполезную школу, а потом к полезным репетиторам. А тут сразу — утром занятия в группах в институтских аудиториях (не совсем, конечно, утром, а часов эдак в двенадцать, чтобы бедные богатые детки успели выспаться и добраться — каждый на личном водителе — до института), а вечером занятия

частные — это уже за отдельные бабки и дома у профессуры, куда утомленного ребенка после ресторана или кафе, разумеется, доставляет личный водитель.

— Это, понятное дело, не уровень Рублевки — те в других заведениях учатся, но... В основном отпрыски наших выпускников, есть даже и преподав — ну, тут отдельная плата — ты же знаешь. — И Пузырь выразительно на меня посмотрел, намекая на мое личное знакомство с деканом.

Мне всегда становилось неловко оттого, что Пузырь переоценивает степень моей близости к верховным кругам института — полагая, что без вмешательства высших сил чудес не бывает, а что как не чудо есть диплом «Тема искусства в поэме Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»».

— У тебя самый спокойный класс: ярко выраженных наркоманов не наблюдается, обычные раздолбаи. Ну, есть футбольный болельщик — тупой, но не злой. У него папа хозяин банка. Есть дочка саксофониста. Есть еще внук — нет, не саксофониста... не помню, как зовут — увидишь, красивый — внук ТАКОГО-то. — И Пузырь назвал известную даже мне при моей политической амнезии фамилию всенародно известного дедушки красивого внука. — Не знаю, почему его не послали в Оксфорд (думаю, Пузырь имел в виду все-таки внука, а не дедушку, поскольку дедушку в Оксфорд отправлять явно не следовало: в знании английского дедушку заподозрить было сложно, а на русском дедушка выдавал такие перлы, что вся страна охала — Хармс! чистый Хармс!). Но парень хороший, и Алена говорила, что вроде даже не тупой.

Алена — наша с Пузырем однокурсница, стильная блондинка со знанием английского, — провела у одиннадцатого «А» два занятия по литературе и внезапно вышла замуж за английского бизнесмена — видимо, ирландца по происхождению — нет, ну точно ирландец, видела бы, какой рыжий! — представляешь, — Пузырь восхищенно тарачил глаза, — красно-рыжий, как на картинке.

Но как бы Пузырь ни восхищался, я ему не верила: весь институт знал, что он навсегда, смертельно, страдальчески влюблен в Алену.

Собственно, из-за рыжего меня и взяли на работу: Алена вышла за него и уехала, а тут пятница и заменить некем — у всех занятия, вот тут-то Пузырь и вспомнил про меня.

— В штат тебя, разумеется, никто не возьмет — без степени ты вообще преподавать не имеешь права... Короче — вторник и пятница — и ты свободна. Ну, разумеется, проверь сочинения. Будут проблемы с русским, — Пузырь хмыкнул, — звони. И кончай дрейфить — обычные дети, разве что богатенькие.

К пятнице я ненавидела всех обычных детей и особенно богатеньких — я ненавидела тупого, но не злого болельщика, я искренне ненавидела высокопоставленного внука и — от всей души — ненавидела дочку саксофониста и вообще — всех-всех-всех, включая мне пока не известную, но обязательную в каждом классе красавицу-стерву, местную Пэрис Хилтон в гламуре и с сумкой Tod's.

...Как жестоко я ошибалась! Красавица-стерва оказалась совсем не красавицей: Зоя — а ее звали Зоей — была похожа не на Пэрис Хилтон, а на настоящую подиумную модель — какие вошли в моду уже после Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд и Кристи Терлингтон... Знаете, эдакая породистая некрасивость с ломаным профилем узкого бледного лица, а еще неправдоподобно легкие движения и точеные, как будто всегда чуть вздернутые, как бывает у очень худеньких и грациозных детей, плечи. И никакого дешевого гламура: джинсы, майка и блестящие светлорусые волосы, собранные в высокий хвост. Правда, сумка вроде действительно Tod's. Я такую хотела в прошлом году. И в этом хочу. Хотя нет — сейчас я ничего не хочу, даже сумку. Знаете универсальный метод — как легко определить, что у тебя депрессия? Если не хочется новую сумку — это депрессия предпоследней стадии.

Еще в классе обнаружилось два Савелия — они, как Бобчинский и Добчинский, сидели рядышком на последней парте справа и беззлобно тарасились на меня всеми своими прыщами. Непонятно, почему Пузырь не предупредил о такой оказии — два Савелия, и оба с прыщами, — видимо, хотел сделать сюрприз.

Может быть, вы подумали, что я вру — сразу два Савелия в одном классе — кто в это поверит! Иной раз на всю школу ни одного приличного Савелия не наберется, а здесь сразу два. Фантазерка ты, Ниночка, и идеалистка, — скажете вы. А вот и нет, никакая не идеалистка. Жил же раньше под нами — в смысле под нашей с бабулей квартирой — на первом этаже Варфоломей. Знаю, знаю, вы мне ответите: во-первых, он был один, двух Варфоломеев бабуля уж точно не выдержала бы, а во-вторых, он был не Варфоломей, а Федя. Но бабуля, а с бабулиной легкой руки и весь наш одноподъездный дом называли Варфоломея исключительно Варфоломеем. Врать не хочу, но, по-моему, он откликнулся. А собственно, было так: Варфоломей — добродушный такой увалень старше меня лет на шесть — ну, да, когда я училась классе в пятом, он был уже студентом — и вот тогда-то, курсе на первом, Варфоломей и проявился во всей своей красе. То ли родители у него на раскопки уехали — они вроде археологи были, то ли они оглохли сразу на все четыре уха, но факт остается фактом: как-то теплой майской ночью Варфоломей (он тогда еще не был Варфоломеем) врубил диско — да-да! не рок, не фанк, а самое что ни на есть старинное разухабистое «БОНИ-М».

— Ра-ра-РаспутИн — ла-ла-ла-ла — Рашн Квин, — колотилось снизу в пол, так что страшно было смотреть на сейсмическую активность ковра.

Я не знаю, наслаждался ли Варфоломей один или с гостями — вибрацию РаспутИна не смог бы перекрыть ни один танцпол, но РаспутИн и прочий «БОНИ-М» ЖАРИЛИ всю ночь. Мне, если честно, даже нравилось, но утром бабуля, дождавшись

Варфоломея в подъезде — прямо возле его квартиры, строго и с достоинством сказала:

— Вы мне это, Варфоломей, прекратите!

— Я не Варфоломей... — оробел Варфоломей. — Я Федя. — И затравленно оглянулся на меня.

— Вар-фа-ла-мей! — отчеканила бабуля безапелляционным тоном.

А когда бабуля говорит таким тоном, любому — и даже Варфоломею — ясно: возражать не стоит. И поскольку Варфоломей не возражал, он постеснялся спросить о причинах своего нового имени — а то бабуля рассказала бы ему про Варфоломеевскую ночь и как католики перерезали всех гугенотов. Но, может, Варфоломей «Королеву Марго» читал, потому и не спрашивал...

Но что вы думаете, Варфоломей утихомирился? Ничуть. В ту же ночь продолжились католически-гугенотские страсти по Распу-Тину. И тогда на следующий день бабуля не стала встречать Варфоломея на лестнице — вот еще — снова?! — это не в стиле моей бабули! Она спокойненько отправилась к себе в редакцию — бабуля работала литературным редактором в одном толстом журнале, а вечером вернулась с таким вдохновенным и сосредоточенным лицом, что стало ясно: стратегия грядущей Варфоломеевской ночи уже продумана, осталось только постичь все тонкости тактики. И где-то к одиннадцати часам вечера — только началось «Ра-ра...» — бабуля села за фортепиано. Боюсь соврать, но мне кажется, в платье и даже в туфлях лодочках. Ну а прическа у бабули всегда была что надо — даже не сомневайтесь: представьте себе балерину на пенсии — ну или графиню — не подумайте, ни балериной, ни графией бабуля не была, просто вид такой. Устроившись за фортепиано, бабуля окинула меня эдаким светским взглядом и сказала: «Совсем ты у меня невежда — не знать ни одного танца — ни вальса, ни фокстрота... да что там — ни одного па из “па-де-катр” — это позор! Прежде всего мне позор! Что сказал бы дед Андрей!» И мы с бабулей обе посмотрели на

стену — на фотографию деда Андрея. Но дед Андрей — в военной форме и с зачесанными назад светлыми волосами — только смеялся на нас светлыми-светлыми глазами и был, как всегда, как-то по-киношному красив. И вот под одобрителный взгляд деда бабуля сначала наиграла мелодию, а потом вышла из-за пианино и показала несколько движений — вот так, да-да, так... ладно, сейчас главное — поймать дух танца, точность придет потом, а пока... марш надевать туфли — нет, нет, обязательно те, с каблучком! — снимай ковер — да, да — просто сдвинь его в сторону — и...

Бабуля крепче уселась на табурете перед пианино — и...

— Полька-бабочка! — вдруг взревела бабуля.

Я вздрогнула — честно, вздрогнула, — и бабуля как шандарахнет по клавишам... И еще, и еще... и мне: «А ну, Нинка, иди!»

И я пошла! Я не уверена, точно ли это была полька-бабочка или какой иной полонез, но я пошла! Вот это, скажу я вам, был танец — даже не сомневайтесь, какой танец! В общем, пианино гремит, я скачу, каблучками наярываю, еще, конечно, что-то ору... И тут — о чудо! — Ра-ра-РаспутИн затих. И по всему нашему одноподъездному дому разлилась тишина — даже телевизоры везде повыключали, чтобы не пропустить ни одного па нашей свирепой польки-бабочки.

В наши политкорректные времена бабулю уж, конечно, лишили бы всех родительских прав, а меня бы отправили в колонию для трудновоспитуемых подростков. Ну и кому бы от этого было хорошо, спрашивается? А? Явно — не соседям: они ведь только сначала замолчали вместе со всеми своими телевизорами, а потом очень даже поддержали наш танец — прямо как футбольные болельщики — криками и барабанной дробью по батарее. Особенно старался какой-то пронзительный старушечий голос с верхнего этажа: «Давайте, девки! Вжарь, Нинка!» Кажется, это была тощая такая генеральша — в нашем доме жили семьи военных. Мой дед ведь тоже полковник — только он умер за несколько месяцев до рождения — нет, не моего рождения: моего папы.

Вы, конечно, скажете: это слишком красивая и изысканная история, чтобы быть правдой! Это, скажете вы, даже не история, а почти рождественский рассказ — пусть и майский: таких чудес с исправлениями меломанов и Варфоломеев в жизни не бывает. А я вам отвечу: спросите жильцов одноподъездного дома № ___ в ***-вом переулке, спросите, как звали того парня — он, кажется, переехал, — того парня с первого этажа, который повадился было слушать «БОНИ-М», а потом как отрезало? Ну скажите, как его звали? И вам ответят — Варфоломей...

Так что я в известном смысле закалена — меня сложно напугать каким-нибудь новым Варфоломеем. Но два Савелия — это, знаете ли, даже для меня чересчур.

— А Алена Дмитриевна скоро вернется? — Савелий — тот, который слева, явно не хотел меня обидеть, он просто по-детски интересовался, где хорошая тетя Алена.

— А разве вам не сказали, что у вас теперь я?

— Как?! Насовсем?! — Мила округлила глаза и слегка полуоткрыла рот — совсем как в Голливуде, когда, даже если выключен звук, видно, что произносят разочарованное WOW. Мила явно гордилась своим WOW: в сочетании с загаром и коротенькой маечкой в принтах оно смотрелось почти естественно.

— Ну, надеюсь, все-таки не насовсем. — Я посмотрела прямо в Милины глаза: «Удавись со своим WOW» должна была прочитать Мила в моем взгляде. Мила прочитала, уверяю вас, прочитала. — Не насовсем, а на девять месяцев — до июня. «У тебя, может быть, дом почти на Рублевке, — продолжала я смотреть в Милины глаза, — а еще папа с автомобилем с откидным верхом и мама с платьем от-не-знаю-хрен-кого... но тебе никогда не стать героиней фильма. Максимум — подленькой соперницей/подружкой главной героини... И даже если главная героиня в полной жопе или у нее, скажем, всего одна приличная юбка, она все равно — героиня, потому что она... потому что у нее...»

Я не могла придумать, «что она» или «что у нее», но что она героиня, чувствовала точно. Не отводя глаз, я выдержала паузу и повторила:

— До июня... если мне не надоест. — Лениво сморгнула и снова вдавила взгляд в Милены зрачки.

— А если нам надоест... что у нас учитель с «Пошехонским уездом Чацкого»? — Мила не сморгнула.

Меня как будто ударили под дых.

— Жалуйтесь, то есть стучите. — Я, не выдыхая, слегка пожала плечами и только теперь медленно и не глядя посмотрела на остальных. — А еще читайте Жуковского. Это задание ко вторнику, если кто не понял. Всего хорошего.

И, взяв старенькую сумку модели BIRKIN — единственную мою поддержку в мире юного подлого гламура, пошла к двери, чувствуя, как смешки ударяются в мою выпрямленную спину. И только выйдя из аудитории, выдохнула.

2

Сентябрь, последняя неделя

Страшно доски затрещали;
Кости в кости застучали...

О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской — их нет,
Но с благодарностью — были...

В. А. Жуковский

Я была уверена, что Пузырь вечером позвонит и, вежливо побряхтывая, сообщит, что чудесным образом нашелся преподаватель, который по совершеннейшему недоразумению не смог выйти в эту пятницу, но уже готов ко вторнику, и вообще — готов. Но вечером Пузырь не позвонил. Не позвонил он и в субботу, и в воскресенье. А! Так выходные же — догадалась я, позвонит в понедельник — и снова улеглась на диван — лицом к стене, как Гоголь. Но к концу воскресенья я устала лежать и пошла на кухню курить. Я поставила круглое зеркало на стол рядом с пепельницей, закурила и уставилась на себя. Сказать правду? Я себе нравлюсь. Не знаю, признак ли это

нарциссизма, инфантилизма, шизофрении или еще какого-нибудь проявления неординарности, но зеркало меня успокаивает, даже если у меня распухшее и красное от слез лицо или, наоборот, синие круги под глазами — от недосыпа, пачки сигарет на голодный желудок... так вот, мне нравятся и мои зеленые от слез глаза, и наоборот — благородная синеватая бледность лица — очень, очень утонченно! Нет, вы не подумайте — я не то чтобы в восторге от своего носа или подбородка, мне просто нужно видеть, что это я. Как будто что-то родное, что ли. Ну да: я испытываю к себе родственные чувства. Вы меня, наверное, спросите: а неужели, Нина, тебе не хочется, чтобы у тебя — светлые волосы, тонкая талия, высокая грудь... Теоретически — да, но, если по правде — не очень: мне как-то жалко будет вон ту в зеркале с каштановыми волосами — с челкой и хвостом. И чуть-чуть — едва уловимо — лопухую. Я смотрю в зеркало и время от времени говорю себе: это я. Или нет, даже не так. Я говорю себе — это, Ниночка, ты. У тебя, Ниночка, закончились сигареты, а еще ночь впереди. И даже если ты выпьешь валерьянки, ты все равно не заснешь — на голодный желудок не заснешь... Бабуля говорила — нищий приснится... И тогда — без чего-то двенадцать — я пошла за сигаретами. Раньше я бы ни за что не вышла из дома в двенадцать, да и в десять тоже. Дело в том, что я до смерти боюсь подъездов, лестниц, лифтов — лифтов даже больше, чем шорохов и шагов за спиной, но сейчас мне лифт не нужен — я ведь снова на втором этаже, и можно снова бояться лестничных пролетов. Но не сейчас — сейчас мне все равно, и я выхожу из гулкого подъезда на залитую лунным светом улицу — там только запах остывающего асфальта, пыльной листвы и вытоптанного газона, щедро сдобренного собачьей мочой, а еще — в нескольких шагах от подъезда — табачный киоск с тускло светящимся окошком. Безмолвная рука в окошке забирает деньги, кладет пачку сигарет и сдачу на блюдечко для мелочи.

Вдруг я ощущаю сзади чье-то присутствие и резко оборачиваюсь: бомжиха с одутловатым и синим свирепым лицом уставилась на сдачу. У нее настолько ненавидящее лицо, что мне очевидно: она бы себе ни за что не подала. Непонятно, зачем просить с таким лицом, да еще в полночь. Я, взяв сигареты, отхожу от окошка, чтобы она могла забрать сдачу, и иду к подъезду.

— Выпить хочешь? — раздается сзади сиплый, неожиданно сильный, почти мужской голос — первый голос, услышанный мною за два дня.

Я останавливаюсь.

— Нет, пожалуй, нет. Спасибо. — И, не оборачиваясь, захожу в подъезд.

Вернувшись домой, я — перед зеркалом — выкуриваю сигарету, потом навожу на него суровый палец и пафосно, как герой плаката «Ты записался добровольцем?», говорю: «Ты выдержишь!» И иду спать.

В понедельник утром Пузырь не позвонил. И днем. К ночи стало ясно: придется идти. Идти не из-за бедных богатых детей — бедным богатым детям я бы предложила идти самим — в известном всем детям направлении. И не из-за Пузыря и его папы — да пошли они тоже! Деньги! Вот высокая побудительная причина занятий во вторник. Если занятие будет сорвано, меня уволят — и нечем будет отдавать долг Пузырю.

Итак, ночь и Жуковский. О чем, Нина, говорит тебе это имя? А вот о чем: Василий Андреевич. Первый русский романтик. Переводчик. Без Жуковского мы не имели бы Пушкина. Элегии. Баллады. «Светлана». «Людмила». «Лесной царь». Все. Дальше Жуковский молчал. И я обратилась к записям. В спасительной тетрадке было: «Лирический герой — юноша-поэт, певец... синтез добра и красоты» (это что за хрень?!), «Жуковский — гробовых дел мастер» (?!!!!!). А! — это про «Людмилу» — там же мертвецы, — успокоилась я. И еще какая-то тайнопись — поэзия намека, полутона в «Невыразимом», псих.пейзаж. Неужели я это писала?

В семнадцать лет?! Под диктовку бабули, но — я и псих.пейзаж? Мистика! В Алениных записях и того страшнее — мотив воспоминаний и идея двоемирия — причем подчеркнутая двумя красными чертами. Ну и на черта мне эта идея, да еще и подчеркнутая двумя чертами? Что мне с нею делать?.. Нужно, нужно было забрать у Мити компьютер... Но кто знал, что у Алены будет только двоемирие... И я пошла к полкам за томиком Жуковского. Слава богу, есть предисловие — кучее, но есть...

Наверное, я все же заснула, поскольку в десять утра я подскочила от будильника...

— Пришла! — разочарованно протянул Савелий слева — тот, что повыше и посветлее. — Говорил же — валить надо — а вы: еще пятнадцать минут...

— Что, эксперимент продолжается? — Мила, с распущенными по плечам волосами, в белоснежных джинсах на бедрах и коротеньком черном топике, медленно перевела скучающий взгляд с моей невыспавшейся физиономии на мою юбку. Мила на секунду задержала глаза — а, все та же юбка-карандаш! Надо же, какая пошлость — лениво отвернулась.

Вот стерва! Нет — чтобы на блузку — блузка-то другая! В тот раз была белая с длинными рукавами, сегодня белая с короткими. Вот спросите любую специалистку если не по гламуру, то по дресс-коду — особенно такую очень умную специалистку со сладкими круглыми глазами и — почему-то — локонами по бокам круглых щек, спросите ее, как быть, если у тебя ни хрена, а нужен деловой стиль? И специалистка, щуря глаза и поджимая неестественно пухлые губы, скажет: если ни хрена, то — блузка! Блузка — вот спасение благородной, но временно стесненной в средствах барышни с необыкновенно богатым внутренним миром. Или, совсем уж на худой конец, — шарфик — конечно, лучше бы от Диор... а в следующий раз — пиджачок. Но все сразу — ни-ни: нельзя выдавать весь гардероб на-гора, тем более если его, гардероба, нету... Я и отложила к пятнице на шарфик, несмотря на то,

ОГЛАВЛЕНИЕ

Роман для классного чтения	3
1. Сентябрь	7
2. Сентябрь, последняя неделя	24
3. Октябрь	40
3,5. Октябрь — продолжение	52
4. Ноябрь	73
4,5. Ноябрь — продолжение	95
5. Ноябрь-декабрь	116
6. Декабрь-январь	155
7. II семестр. Январь, одиннадцатого дня	195
8. Январь — апрель	206
8,5. Апрель — продолжение	224
9. Май	276



Нина Курилло родилась в Москве в семье физиков, работавших в НИИЯФ МГУ имени М.В. Ломоносова. Окончила математическую школу № 7 (класс Е. В. Юрченко), по окончании которой, однако, решила поступать на филологический факультет МГУ. Кандидат филологических наук, специалист по русской прозе первой трети XX века. Семья — муж, взрослый сын и собака.

«Девять месяцев одного года» совмещает в себе черты школьной повести и любовного романа, однако школу жизни проходят не столько ученики, сколько учительница элитного экстерната — двадцатидевятилетняя Ниночка. Ниночка не отличается ни необходимым преподавателю альтруизмом, ни грамотностью, хотя и любит читать. К тому же она совсем недавно рассталась с мужем.

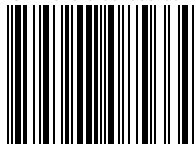
Календарь романа выстроен «по авторам» школьной программы, которую заново осваивает героиня, воспринимая ее «по-домашнему»: на собственную жизнь она теперь смотрит сквозь призму художественных произведений, анализ которых часто выливается в воспоминания героини или размышления о высоких материях — сумках и обуви, любви и предательстве, юности и зрелости. Ниночке предстоит пережить ряд личных катастроф, отпустить свою юность, встретить новую любовь и стать настоящим профессионалом — Ниной Серафимной.



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ГОРОДЕЦ

ISBN: 978-5-907085-66-4



9 785907 085664

www.gorodets.ru

